

*Азбука*  
PREMIUM

К Н И Г И  
ГЕНРИ МИЛЛЕРА  
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА»

Замри, как колибри  
Мудрость сердца  
Под крышами Парижа  
Книги в моей жизни  
Книга о друзьях  
Тропик Рака  
Черная весна  
Тропик Козерога

ГЕНРИ МИЛЛЕР

# Тропик Козерога



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.111(73)  
ББК 84(7Coe)-44  
М 60

Henry Miller  
Originally published under the title  
TROPIC OF CAPRICORN  
Copyright © 1939 by The Estate of Henry Miller  
All rights reserved  
Published in Russian language by arrangement with  
Lester Literary Agency

Перевод с английского Ларисы Житковой  
Серийное оформление и оформление обложки  
Вадима Пожидаева

### Миллер Г.

М 60 Тропик Козерога : роман / Генри Миллер ; пер. с  
англ. Л. Житковой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус,  
2016. — 512 с. — (Азбука Premium).

ISBN 978-5-389-11775-4

Генри Миллер — виднейший представитель экспериментально-го направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились под запретом на его родине, мастер исповедально-автобиографического жанра. Скандальную славу принесла ему трилогия, составленная романами «Тропик Рака», «Черная весна» и «Тропик Козерога»: именно эти книги шли к широкому читателю десятилетиями, преодолевая судебные запреты и цензурные рогатки. «Тропик Козерога» — это история любви и ненависти, история неисправимого романтика, вечно балансирующего между животным инстинктом и мощным духовным началом, это отражение философских исканий писателя, который, по его собственным словам, был «философом с пеленок»...

УДК 821.111(73)  
ББК 84(7Coe)-44

- © Л. Житкова, перевод, предисловие,  
примечания, 2016  
© Издание на русском языке,  
оформление. ООО «Издательская  
Группа „Азбука-Аттикус“», 2016  
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-11775-4

## «Я пою экватор», или Аутогония<sup>1</sup> Миллера

Париж, это «артистическое чрево», где «жирели культурные эмбрионы со всего света», продолжал оказывать благотворное влияние на гений Миллера. Завершен «Тропик Рака», «похудевший» в ходе окончательной шлифовки на две трети; написано несколько эссе, начата «Черная весна»... В июле 1932 года появились первые страницы «Тропика Козерога», но вплотную Миллер засел за него только полтора года спустя и тогда же решил посвятить эту книгу «Ей» — «Джун Смит-Смерч-Мэнсфилд-Миллер-П..де-Муде-Б..ди», как он окрестил свою вторую, теперь уже бывшую, жену в пьяном, истерическом письме другу детства, художнику Эмилю Шнеллоку, которым отреагировал на известие о том, что Джун видели в одном из кафе Гринвич-Виллиджа с каким-то молодым человеком. Произошло это через несколько месяцев после ее окончательного отъезда из Парижа. Их отношения всегда представляли собой череду «яростных ссор» и «столь же яростных примирений», и, хотя разрыв состоялся, в сущности, по инициативе Миллера, это известие оживило рану, нанесенную ему Джун, обиды, ложь, измены, унижения — все, что он претерпел за годы их совместной жизни. Он не мог смириться с мыслью, что Джун могла его возненавидеть. «Передай ей, что я все еще ее люблю, но видеть не желаю», — пишет он в том же письме. И тут же, в постскриптуме, просит сказать ей, чтобы она катилась в тартарары, — только в более крепких выражениях, — не забывая, однако, поинтересоваться, как она одета и каким цветом подводит глаза — зеленым или синим. «Джун меня искалечила», — жа-

---

<sup>1</sup> Т. е., на языке автора статьи, «саморождение», иными словами, «творение самого себя» (*этим. греч.*).

ловался он в очередном письме Шнеллоку, признаваясь, что ради нее был готов на все: «предательство, поджог, грабеж, убийство — что угодно, только бы ее удержать»<sup>1</sup>. Имя Джун не сходило с его уст: она была постоянным предметом разговоров с Анаис Нин — их общим «духовником», а также невольным катализатором их разрыва. «Каждый из них, — пишет она, — нашел во мне свой собственный желанный образ, свое недостающее, неущемленное „я“. Генри видит во мне сильного мужчину, каким бы он мог быть; Джун — высшее совершенство. И каждый цепляется за это свое отражение во мне, чтобы жить и чтобы черпать в нем силы. Отсутствие внутреннего стержня Джун компенсирует, разрушая других. Генри до знакомства со мной самоутверждался, третируя Джун. Он ее шаржировал, а она подавляла его своей опекой. Они поедали друг друга, терзали, разрушали. И теперь, когда им удалось друг друга уничтожить, оба льют слезы»<sup>2</sup>.

Миллер был убежден, что страдания укрепляют дух, и в этом смысле Джун своим существованием подогревала в Генри писательский пыл, на всю жизнь обеспечив его литературным материалом. В один прекрасный день у него назрела идея отомстить Джун своими книгами. Вернувшись к «Козерогу» в июле 1934 года, он пишет одному из друзей парижского периода Дику Осборну, что намерен создать «этакую пруссианскую эпопею» и тем самым отплатить Джун за годы своего прозябания в Америке. «„Тропик Козерога“, — обещал он, — на несколько грядущих веков станет могилой Джун. (...) Она у меня еще попляшет, эта ...!»<sup>3</sup> Посвящая в те же планы Эмиля Шнеллока, Миллер говорил, что ему необходимо «выписаться», чтобы «вытряхнуть из себя все ее вранье», что он собирается изобразить ее «патологической лгуньей»,

<sup>1</sup> *Dearborn Mary V. The Happiest Man Alive: A Biography of Henry Miller.* N. Y.; L.; Toronto; Sydney; Tokyo; Singapore: A. Touchstone Book. Publ. by Simon & Schuster, [1992]. P. 160. — Здесь и далее иноязычные цитаты даются в переводе автора статьи.

<sup>2</sup> *The Diary of Anaïs Nin. 1931–1934 / Edited and with an Introduction by Gunther Stuhlmann.* San Diego; N. Y.; L.: A Harvest Book. The Swallow Press and Harcourt Brace & Company, s. a. P. 136.

<sup>3</sup> *Dearborn Mary V. The Happiest Man Alive...* P. 161.

а себя — «созидательным лгуном», провозглашая себя при этом «самым искренним лгуном в мире»<sup>1</sup>.

С появлением «Сексуса», «Плексуса» и «Нексуса» «могила» Джун разрослась чуть ли не до пирамиды — «позором крою ли, прославлю?»...

В тот роковой приезд в Париж «эта ...», обнаружив, в каком неприглядном свете выставил ее Генри в рукописях, с негодованием признавалась Анаис: «Я любила Генри и доверяла ему, пока он не предал меня. Он не только предавал меня с другими женщинами — он извратил мою индивидуальность, он выставил меня жестокой, но это совсем не я. Мне так не хватает верности, любви, понимания. Я возвела этот барьер лжи только в целях самосохранения. Мне необходимо защитить от Генри свое истинное „я“. (...) У Генри не слишком богатое воображение. Он фальшивит. И не так уж он прост. Он сам меня усложнил — обезжизнил меня, убил. Получился какой-то надуманный литературный персонаж. Он ввел его, чтобы было из-за кого мучиться, было кого ненавидеть. Ведь он может писать, только когда растравляет себя ненавистью. Как писателя я его не принимаю. Что-то человеческое в нем, конечно, есть, но он лгун, лицемер, фигляр, актеришка. Он сам ищет драм и создает чудовищ. Ему не нужна простота — он интеллектуал. Ищет простоты, а потом сам же ее извращает, начинает изобретать чудовищ, боль... Все это фальшь, фальшь, фальшь!»<sup>2</sup>

Анаис была ошеломлена. «Я увидела еще одну правду, — пишет она в дневнике. — Я увидела гигантский запутанный клубок. Я была озадачена, но в то же время многое странным образом прояснилось. Я разрываюсь не между Генри и Джун, а между двумя правдами. Я верю Генри как человеку, хотя полностью отдаю себе отчет в том, что он литературный монстр. Я верю Джун, хотя полностью отдаю себе отчет в ее разрушительной силе. (...) Помню, как я была поражена, прочитав в записях Генри, что Джун, когда она не покладая рук работала, чтобы прокормить его и Джин (ее ближайшую

<sup>1</sup> Ibid. P. 174.

<sup>2</sup> The Diary of Anaïs Nin. 1931–1934... P. 132–133.

подругу допарижского периода. — *Л. Ж.*), однажды в приступе усталости и возмущения воскликнула: „Вы оба уверяете, что любите меня, но ничего для меня не делаете!“<sup>1</sup>

Последним напоминанием о Джун стал для него клочок туалетной бумаги с начертанными на нем каракулями: «Будь любезен, поспеши с разводом» — и популярная тогда песенка «Вальпараисо» с припевом «Прощай, Мексика!» — Джун пожелала развода по-мексикански. Слушая ее, Генри плакал<sup>2</sup>.

Дальнейшая судьба Джун достойна сожаления. Более десяти лет о ней не было ни слуху ни духу. Осенью 1947 года Миллер получил от нее первое письмо, из которого узнал о ее бедственном положении: одиночество, проблемы со здоровьем, отсутствие средств к существованию, благотворительные гостиницы, больницы, полный разлад с собой и предельная опустошенность. Сознывая свою ответственность за Джун, он по мере возможностей помогал ей материально, посылая время от времени небольшие — от 25 до 30 долларов — суммы денег, организовывал медицинскую помощь, уход, но отношений не возобновлял. Встретились они лишь однажды — в Нью-Йорке в 1961 году. Держалась она мужественно, но Генри был шокирован, обнаружив ее в том плачевном состоянии, в котором она оказалась накануне своего шестидесятилетия: она так и не оправилась от последствий шоковой терапии, примененной к ней в одной из лечебниц. Переселившись в 1977 году к брату в Аризону, Джун окончательно исчезла из жизни Миллера.

С метафизической точки зрения, его книги действительно стали «могилой» Джун: по мере того как он писал свою грандиозную эпопею, Джун чахла — и лично, и телесно, подобно физиологическому раствору из капельницы перетекая на их страницы. Ближайший друг Миллера и его личный биограф, а кстати, и свидетель и сторонник их разрыва Альфред Перле, отмечая удивительную способность Генри «исцелять» людей, «вдыхать жизнь» во всех, с кем он прихо-

<sup>1</sup> Ibid. P. 134.

<sup>2</sup> *Ferguson Robert. Henry Miller: A Life.* N. Y.; L.: W. W. Norton & Company, [1991]. P. 206.



дил в соприкосновение, констатировал, что с Джун ему это не удалось.

Может, Генри потому и не удалось вдохнуть жизнь в Джун, что она вдохнула в него свою...

Посвященный Джун, «Тропик Козерога» не стал, однако, ее портретом. И хотя многое было надиктовано ею, но только в том смысле, что «боль стала творчеством»: «Я помню все, но помню, как болван, сидящий на коленях чревоушателя. Будто я на протяжении долгого, непрерывного брачного солнцестояния восседал у нее на коленях (даже когда она стояла) и проговаривал заданный ею текст. (...) ...рассудок превращался в вертящееся шило, упрямо продирающееся в черное ничто»<sup>1</sup>.

Определяя характер работы Миллера над «Козерогом», Анаис писала: «Генри алхимизирует свое прошлое»<sup>2</sup>. Но это была не столько «алхимизация прошлого», сколько алхимизация своего «я», продолжавшаяся в течение шести лет и прошедшая все три стадии, выделенные Христианом Розенкрейцем: «микrokосмическое солеобразование», т. е. «преодоление ведущих к разложению сил путем спиритуализации»; «растворение», т. е. питание всех форм любви, и «сгорание», т. е. очищение<sup>3</sup>. И не случайно Анаис чуть позднее записывает в дневнике: «Меж тем книга Генри, которую он пишет спермой и кровью, разбухает до бесконечности, а сам он день ото дня становится все более тонким, более хрупким»<sup>4</sup>. Творя свой миф и осознавая высшую духовную природу собственного «я», Миллер намекает на инкарнацию в себе той самой индивидуальности, что шесть столетий назад была воплощена в Христиане Розенкрейце, а еще раньше — инкарнирована во время Мистерии Голгофы: «...я целых шесть столетий

<sup>1</sup> Наст. изд. С. 185.

<sup>2</sup> The Diary of Anaïs Nin. 1934–1939 / Edited and with a Preface by Gunther Stuhlmann. San Diego; N. Y.; L.: A Harvest / HBJ Book. The Swallow Press and Harcourt Brace Jovanovich Publishers, s. a. P. 67.

<sup>3</sup> Штейнер Рудольф. Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца: Лекции 1911–1912 гг. СПб.: Дамаск, 1992. С. 23–24.

<sup>4</sup> The Diary of Anaïs Nin. 1934–1939... P. 99.

пребывал там (в «ничто». — Л. Ж.) недвижный, бездыханный, пока происходившие в мире события просеивались сквозь сито и оседали на дно, образуя скользкое илистое ложе. Я видел, как в огромной дыре в потолке Вселенной кружатся созвездия, видел отдаленные планеты и ту черную звезду, что должна принести мне спасение. Я видел Дракона, сбрасывающего с себя ярмо кармы и дхармы, видел новую расу людей, заваривающуюся в желтке будущности. Я разгадал все до последнего знака и символа, но не смог распознать ее лица<sup>1</sup>. Лица той, что станет одной из «голгоф» его как Генри Миллера, его «великим распятием», и через страдание принесет спасение.

Не склонный до такой степени внедряться в «метафизические дебри» Перле видит в «процессе материализации Джун» «сладостную муку», которую Генри «не променял бы ни на какие горы китайского риса». «Страдание и экстаз, — пишет он, — идут рука об руку. Генри испытывал жестокие схватки роженицы, но разрешение от бремени неминуемо. Чтобы дать жизнь Джун, он должен был вырвать ее из собственной плоти, должен был искалечить себя, лишь бы она могла жить — хотя бы на бумаге. Он не брезговал никакими мазохическими изысками и временами напоминал этакое духовного гинеколога, делающего себе кесарево сечение без применения анестезирующих средств»<sup>2</sup>.

Последняя точка в «Тропике» была поставлена в сентябре 1938 года, и к этому времени посвящение «Ей» утратило свою конкретность: деперсонализированное «Она» разрослось в «Гигантскую Утробу» — «Великую Пустоту», «Чрево Матери Мира» — «Ком (да-куай)» даосов, — вмещающую в себя и вскармливающую все сущее, все порождающую и все поглощающую. Гимном ей заканчивает Миллер свою классификацию обитающих в «Стране Ебли» микрокосмических ее проявлений: «И наконец, есть пизда, которая объемлет все, и мы назовем ее сверхпиздой, коль скоро она совсем не из этой страны, — она из тех светозарных краев, где нас давным-

<sup>1</sup> Наст. изд. С. 183.

<sup>2</sup> *Perlès Alfred. My Friend Henry Miller: An Intimate Biography / With a Preface by Henry Miller. L.: Neville Spearman, [1955]. P. 112.*

давно ждут. Там вечно искрится роса и колыхнется стройный тростник. Там-то и обитает великий прародитель блуда папаша Апис — зачарованный бык, прободавший себе путь на небеса и развенчавший кастрированных божков „правильного“ и „неправильного“»...<sup>1</sup>

«Человек стремится к уюту и надежности материнской утробы, — пишет Миллер в эссе „Время убийц“, — жаждет той тьмы и покоя, которые для неродившегося то же, что для истинно рожденного — сияние дня при вступлении в мир. Общество же состоит из закрытых дверей, из запретов, умолчаний, законов и всяческих табу. Это неотъемлемые составляющие общественной жизни, их просто так не устранить; наоборот, необходимо их учитывать и использовать их, если мы хотим создать когда-нибудь подлинно человеческое общество. Вечно длится этот танец на краю кратера. Однажды я написал эссе „Гигантская утроба“. В этом эссе я представил мир в виде утробы, в виде места творения. То была отважная и добросовестная попытка приятия мира, предвестник более искреннего приятия, приятия, которое последовало вскоре, которому я отдался всем своим существом»<sup>2</sup>.

«Сверхпизда» в «Тропике Козерога» — это и есть «место творения», изначальный животворящий Хаос, эфирный Макрокосм, тот мир безличного, куда совершалось — «*via penis*» — свои путешествия «в трамвае-яичнике» сознание (или эфирное тело) Миллера из мира личного, микрокосмического, хаоса разрушительного, мира той утробы, в которой, по словам Анаис Нин, «мужчина пребывает, только чтобы набраться сил: он питается этим синтезом, а затем поднимается и выходит в мир, в работу, в бой, искусство. Он не одинок. Он занят делом. Память о плавании в амниотической жидкости дает ему энергию, завершенность. Женщина тоже может быть занята делом, но она ощущает внутреннюю пустоту. (...) Когда мужчина пребывает в ее чреве, она осуществляется, и каждый акт любви — это вбирание мужчины в себя, акт рождения

<sup>1</sup> Наст. изд. С. 155.

<sup>2</sup> Миллер Генри. *Время убийц: Этюд о Рембо* // Иностранная литература. 1992. № 10. С. 162 (пер. Инны Стам).

и возрождения, деторождения и мужерождения. Мужчина входит в ее чрево и каждый раз возрождается заново с желанием действовать, БЫТЬ»<sup>1</sup>.

Неудивительно, что Миллера озадачивало, что многие читатели не понимали его, принимая его книги за «библию сексуальной революции».

Генри не погрешил против истины, заявив на первых страницах «Козерога», что он «был философом уже с пеленок». Если смотреть эзотерически, нельзя отрицать, что человек ранга Генри Миллера изначально был вместилищем всей суммы мудрости древнейших и новейшей эпох. К нему можно отнести его же слова о Рембо и Ван Гогге: «...они поглотили и усвоили культурное наследие нескольких тысячелетий»<sup>2</sup>. Гераклит и Пифагор, Гесиод и Орфей, Платон и Сократ, Рабле и Аристофан, Ницше и Шпенглер, Гердер и Фрейд, Бергсон и Спенсер, Штейнер и Джемс, Абеляр и Августин, Достоевский и Гамсун, Иоанн Богослов и Конфуций, Лао-Цзы и Чжуан-Цзы, Лотреамон и дадаисты, философы буддизма и индуизма — все понемногу «наследили» в «Тропике Козерога» (равно как и во всех текстах Миллера), разбросав по его страницам воспринятые и усвоенные ими «знаки и символы» высшего знания. «Что же до Востока, — писал он, — то мысль о нем никогда меня не покидала... И не только о Китае и Индии, но и о Яве, Бали, Бирме, Королевстве Непал, о Тибете. ...я всегда был уверен, что меня там примут с распростертыми объятиями»<sup>3</sup>.

Определяя «жанр» своих книг (разумеется, в антинаучном и антилитературоведческом смысле), Миллер называет «Тропик Рака» «большим красивым чемоданом из добротной кожи, который может по необходимости растягиваться или сжестиваться, куда бросаешь вещи как попало, не думая, накрахмаленные они или мятые, грязные — негрязные»<sup>4</sup>. В «Черной весне» он пишет: «Книга для меня — человек, а моя кни-

<sup>1</sup> The Diary of Anaïs Nin. 1931–1934... P. 106.

<sup>2</sup> Миллер Генри. Время убийц... С. 167.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Dearborn Mary V. The Happiest Man Alive... P. 152.

га — человек, каков я сам: человек запутавшийся, нерадивый, человек беспечный, похотливый, шумный, щепетильный, лгущий, дьявольски правдивый — какой есть. (...) Я считаю себя не книгой, записью, документом, но историей нашего времени — историей всего времени»<sup>1</sup>.

«Тропик Козерога» можно назвать и «чемоданом» — только это, наверное, более тяжелый «чемодан», чем «Тропик Рака», — и «клиническим автопортретом», историей болезни, которая, по словам Анаис, в этой книге вылезла наружу; это и история «пробуждения» Миллера — как осознания себя включенным во Всеединство; это и история его самопресущствления в мире явлений; это и поток сознания — с той лишь оговоркой, что исходит он из универсума Миллера, а его универсум — это хаос как бесконечное множество порядков. Но все это частности — с первых фраз и до последней страницы «Тропик Козерога» являет собой единственную в своем роде аутогонию со всеми атрибутами космогонических построений древних, аутогонию, в которой соединяются созерцательный духовный мир Востока и активно-ментальный западный. Аутогонию в стиле бурлеск. И «Аутогония» Миллера в той же мере обладает самостоятельной историко-литературной, генеративной ценностью, что и «Теогония» Гесиода или, скажем, космогония Анаксагора... «Во всем есть часть всего».

«В книгах ты действительно творишь самого себя. В „Тропике Рака“ ты был только желудок и секс. Во второй книге, „Черной весне“, у тебя появляются глаза, сердце, уши, руки. С каждой следующей книгой ты постепенно создашь полноценного мужчину, а уж тогда сможешь написать и о женщине, но не раньше» — таким представлялся этот процесс Анаис<sup>2</sup>.

Завершая работу над «Козерогом» и планируя начать новую книгу — «Дракон и эклиптика», замысел которой остался неосуществленным, — Миллер писал автору оккультной книги «Дракон Откровения» Фредерику Картеру: «Все мои

<sup>1</sup> *Miller Henry*. Black Spring. L.; Glasgow; Toronto; Sydney; Auckland: Grafton Books. A Division of the Collins Publishing Group, [1986]. P. 24–25.

<sup>2</sup> *The Diary of Anaïs Nin*. 1931–1934... P. 356.

названия символичны и имеют микро-макрокосмическое значение»<sup>1</sup>. «Тропик Рака» он первоначально предполагал назвать в духе Уитмена — «Я пою Экватор», но географические и астрологические аллюзии окончательного варианта выражали его ощущение, что мир болен; к тому же символом Рака является краб, способный двигаться во всех направлениях, а это определяющая способность в универсуме Миллера<sup>2</sup>. Географически тропик Рака — северная граница экваториальной зоны; южная ее граница — тропик Козерога. Астрологически Козерог тоже противоположен Раку. Под знаком Козерога родился и сам Миллер, по времени суток всего на несколько часов позднее, чем за 1891 год до него — Участник Мистерии Голгофы. Символичность этого факта дала ему пищу для многих замечательных пассажей, и не только в «Козероге».

Работая над «Тропиком Рака», Генри признавался Анаис Нин, что хочет написать такую вулканическую книгу, после которой мир уже не сможет оставаться прежним. В «Черной весне» он объявил своей целью «оставить шрам на лице вселенной». О «Тропике Козерога» он говорил, что это самая непристойная из его книг и тем не менее она — лучшее из всего, что он сделал на момент ее завершения: «Меня бы, наверное, за нее повесили, если бы могли»<sup>3</sup>. Скандальная слава Миллера — факт общеизвестный. И тут напрашивается одна аналогия. В начале двадцатых годов прошлого столетия при издании в Германии «Мемуаров» Казановы у издателя — а это был не кто иной, как известный издатель и книгопродавец Брокгауз — возникли сомнения относительно некоторых скабрёзностей, и тогда профессор Юлиус Шютц обратился к нему со следующим письмом: «Я не могу согласиться с Вашим проектом изъять слишком вольные места из „Мемуаров“ Казановы даже при издании оригинала. По-моему, следует решительно реагировать против ханжеской импотенции нашего времени. Нам нужен Аристофан, чтобы вылечить нашу

<sup>1</sup> *Dearborn Mary V. The Happiest Man Alive...* P. 200.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 152.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 198.

эпоху, и он должен положить конец раздражающей болтовне нашей религиозно-мистической морали!»<sup>1</sup>

Точно так же и Миллер был против какого бы то ни было хирургического вмешательства в его тексты. Он предпочитал быть неизданным, чем изданным в смягченном, приглаженном виде. И к нему вполне применимы следующие слова Цвейга о Казанове: «Он повествует не как литератор, полководец или поэт, во славу свою, а как бродяга о своих ударах ножом, как меланхоличная стареющая кокотка о своих любовных часах, — бесстыдно и беззаботно. (...) Неудивительно, что его книга стала одной из самых обнаженных и самых естественных в мировой истории; она отличается почти статистической объективностью в области эротики, истинно античной откровенностью в области аморального... Несмотря на грубую чувственность, на лукиановскую наглость, на слишком явные для нежных душ фаллические мускулы, (...) это бесстыдное щегольство в тысячу раз лучше, чем трусливое плутовство в области эротики. Если вы сравните другие эротические произведения его эпохи, (...) наряжающие Эроса в нищенское пастушеское одеяние, (...) с этими прямыми, точными описаниями, изобилующими здоровой и пышной радостью наслаждения честного чувственника, вы вполне оцените их человечность и их стихийную естественность»<sup>2</sup>.

*Лариса Житкова*

---

<sup>1</sup> *Ярхо Г. И.* Предисловие // Казанова Джованни Джакомо. Мемуары; *Цвейг Стефан.* Казанова. М.: Книга, 1991. С. 6.

<sup>2</sup> *Казанова Джованни Джакомо.* Мемуары; *Цвейг Стефан.* Казанова. С. 293.

*Eü*



Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами. Поэтому после утешения в личной беседе я решил написать тебе, отсутствующему, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий, чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными, или незначительными и легче переносил их.

*Петр Абеляр. Предисловие к Historia Calamitatum  
(«Истории моих бедствий»)*

*В трамвае-яичнике*

Однажды ты испустил дух — все идет раз и навсегда заведенным порядком, даже в самой гуще хаоса. Изначально это и был только хаос — это был поток, который обволакивал меня и который я вбирал в себя сквозь жабры. В нижних слоях, там, где луна лила свой мерный мутный свет, он был однороден и животворящ; в верхних — бушевали раздор и распри. Во всем я с ходу различал противоречие, противоположность и между мнимым и реальным — иронию, парадокс. Я был своим собственным злейшим врагом. Ни разу в жизни я не захотел сделать то, чего с тем же успехом мог и не делать. Даже ребенком, когда я ни в чем не нуждался, я хотел умереть: я хотел капитулировать, потому что не видел никакого смысла в борьбе. Я чувствовал, что ничего нельзя ни доказать, ни обосновать, ни прибавить, ни убавить, продолжая влачить существование, на которое я не напрашивался. Кругом было сплошь одно убожество, а не убожество — так маразматика. Особенно преуспевающие. Преуспевающие нагоняли на меня такую тоску, что хоть волком вой. Я был сострадателен до безобразия, но делало меня таким отнюдь не сострадание. Это было чисто отрицательное качество, слабость, расцветавшая при одном только виде человеческого горя. Я никогда никому не помогал в расчете на воздаяние — я помогал, потому что не мог иначе. Мне представлялось нелепым желать изменить положение дел: я был убежден, что ничего нельзя изменить иначе, как изменив сердце, но в чьей власти изменять сердца

человеков? Время от времени кто-нибудь из моих однокашников ударялся в религию — от этого мне и вовсе блевать хотелось. Сам я не более нуждался в Боге, чем Он во мне, и пусть только один такой явится, часто твердил я себе, — я встречу Его без церемоний: подойду и плюну Ему в лицо.

Самое досадное, что с первого взгляда меня обычно принимали за человека доброго, отзывчивого, щедрого, надежного, верного. Может, я и обладал означенными добродетелями, но если и так, то лишь в силу полнейшего ко всему безразличия: я мог позволить себе быть порядочным, великодушным, верным и т. п., потому как начисто лишен был чувства зависти. Зависть — единственный порок, жертвой которого я не был. Я в жизни никому и ничему не позавидовал. Наоборот, я только и делал, что всех жалел — всех и вся.

Должно быть, я с самого начала приучил себя ничего не хотеть слишком сильно. С самого начала я был независим — в ложном смысле слова. Я ни в ком не нуждался, потому что желал быть свободным, свободным поступать и давать исключительно по велению собственных прихотей. Стоило мне почувствовать, что от меня чего-то ждут или домогаются, и я тут же становился на дыбы. Такова была линия поведения, которой требовала моя независимость. Иными словами, я был развращен, развращен изначально. Как будто с молоком матери я впитал некий яд, и, хотя меня рано отняли от груди, яд этот и по сей день циркулирует в моем организме. Даже когда она перестала меня кормить, я вроде бы никак не отреагировал; обычно младенцы бунтуют или, по крайней мере, покочевряжатся для порядка, ну а я хоть бы хны, — я был философом уже с пеленок. Я был против жизни — из принципа. Какого принципа? Принципа никчемности. Все вокруг меня боролись. Сам же я ни разу и пальцем не пошевелил. А если когда и прилагал усилия, то разве

что для видимости — чтобы кому-то там угодить, но, по сути, мне это было раз плюнуть. Если же кто попытается убедить меня, что иначе и быть не могло, я все равно буду все отрицать, потому как родился я с одной упрямой жилкой внутри, и никуда от этого не денешься. Позже, когда подрос, я слышал, что было чертовски хлопотно извлекать меня из утробы. И неудивительно. Чего держаться? Зачем вылезать из теплого, уютного местечка, укромного пристанища, где все достается тебе даром? Самое первое мое воспоминание — о стуже, о льдинах и снеге в сточной канаве, о промозглой сырости зеленых кухонных стен. Что заставляет людей жить в чужеродных климатических условиях, в *умеренных*, как их по ошибке называют, широтах? Да то, что люди по природе своей идиоты, по природе своей лодыри, по природе своей трусы. Пока мне не минуло, наверное, лет десять, я и знать не знал, что где-то есть «теплые» страны, края, где не надо ни потеть, зарабатывая на жизнь, ни дрожать до посинения, упорно делая вид, что холод тонизирует и бодрит. Где холод, там и люди такие, что готовы вкалывать до последнего издыхания; когда же они производят потомство, они и детенышам вдалбливают евангелие работы, которое, в сущности, есть не что иное, как доктрина инерции. Вся моя родня происхождения сугубо нордического, читай: *идиоты*. Каждая ложная идея, которая когда-либо получала распространение, исходила от них. Взять хотя бы доктрину чистоты, а уж о праведности и говорить нечего. Они были болезненно чистоплотны. Но духовно они смердели. Хоть бы раз удосужились они приоткрыть дверь, которая ведет к душе; хоть бы раз отважились сломя голову ринуться в неизвестность. После обеда тарелки тщательно мылись и ставились в буфет; прочитанная газета аккуратно складывалась и убиралась на полку; белье после стирки утюжилось, утрамбовывалось и распахивалось по ящикам. Все было рассчитано

на завтра, но завтра все не наступало. Настоящее служило лишь мостом, и на этом мосту они и по сей день стенают, как стенает весь мир, и ни один идиот не додумается взорвать этот мост.

В своем ожесточении я часто ищу оснований осуждать их, а лучше бы — самого себя. Потому как я и сам недалеко от них ушел. Довольно долго я пребывал в заблуждении, что оторвался от своих сородичей, но время показало, что я не лучше, а в чем-то еще и хуже их, раз при моей способности видеть гораздо дальше, чем это было доступно им, я все же оказался не в состоянии изменить свою жизнь. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, я ничего не делал по собственному волеизъявлению — вечно на меня кто-нибудь давил. Многие считали меня человеком авантюрным — трудно вообразить что-либо более далекое от истины. Мои авантюры всегда были случайными, всегда навязывались мне, всегда скорее принимались, чем предпринимались. Я плоть от плоти того гордого хвастливого нордического племени, которое ничего не смыслило в авантюрах и все же рыскало по земле, переворачивая ее вверх дном, всюду сея гибель и разорение. Мятежные духи, но только не авантюрные. Агонизирующие духи, неспособные жить настоящим. Презренные трусы — все как один, и я в их числе. Ибо существует лишь одна грандиозная авантюра — путешествие к сокровенным глубинам своего «я», и для нее ни время, ни пространство, ни даже подвиги не имеют значения.

Раз в несколько лет я оказывался на пороге этого открытия, но в присущей мне манере всегда умудрялся в последний момент пойти на попятный. Пытаясь подыскать подходящее оправдание, я никак не могу отделаться от мысли о той обстановке, что меня окружала, об улицах, которые я знал, и о людях, обитавших на этих улицах. Трудно представить, чтобы хоть одна из американских

улиц или кто-то из живущих на такой улице людей могли вывести человека на путь познания своего «я». Мне приходилось бродить по улицам многих стран мира, но нигде я не чувствовал себя таким униженным и задвленным, как в Америке. Такое впечатление, что все улицы Америки соединены между собой, образуя один гигантский отстойник, отстойник духа, куда засасывается и откуда высасывается все, вплоть до нетленного говна. Над этим отстойником, размахивая магическим жезлом, витает дух работы, и по мановению этого жезла то тут, то там возникают дворцы и фабрики, военно-промышленные комплексы и химические комбинаты, сталепрокатные станы и санатории, тюрьмы и приюты для душевнобольных. Весь континент — это сплошной кошмар, порождающий грандиознейшую нищету в грандиознейших масштабах. Я был уникам, единственный реальный субъект среди этой грандиозной арлекинады счастья и изобилия (статистического счастья, статистического изобилия), правда я не встречал еще человека, который был бы заведомо счастлив, заведомо богат. Про себя-то я знал, что ни счастлив, ни богат, ни себе не гожд, ни людям не пригожд. В чем и состояло мое единственное утешение, моя единственная радость. Но вряд ли этого было достаточно. Было бы лучше — и сердцу и уму, — если бы я открыто выразил свой бунт, если бы пошел ради этого на плаху, если бы сгнил и сгинул в тюрьме. Было бы лучше, если бы я, подобно безумному Чолгошу, пристрелил какого-нибудь славного, доброго президента Мак-Кинли или загубил другую, такую же кроткую, неприметную душу, в жизни не обидевшую даже мухи. А все потому, что в глубине моей души сидел убийца: я жаждал увидеть Америку поверженной во прах, до основания стертой с лица земли. Я хотел увидеть, как это произойдет, исключительно из мести, во искупление преступлений, что совершались против меня и мне подобных, так и не осмелившихся

возвысить свой голос, выплеснуть свою ненависть, свой бунт, свою законную жажду крови.

Я был порочным порождением порочной почвы. Не будь душа нетленна, мое «я», о котором я тут распинаюсь, давным-давно приказало бы долго жить. Возможно, иные сочтут это досужими домыслами, но все, что происходило в моем воображении, происходило и на самом деле. *По крайней мере, со мной.* История может отрицать это, поскольку я не сыграл никакой роли в жизни моего народа, но — пусть мои суждения ложны, вздорны, пристрастны, предосудительны, пусть даже я лжец и отравитель — тем не менее это правда, и придется ее проглотить.

Да, так о том, что произошло...

Все, что происходит, если оно исполнено глубокого смысла, несет в себе противоречие. До встречи с той, ради кого это пишется, я всерьез полагал, что разгадка всех вещей кроется где-то вовне — в жизни, как говорится. Я вообразил, когда на нее наткнулся, что хватаюсь за жизнь, за нечто такое, во что мог бы впиться зубами. Вместо этого я окончательно оторвался от жизни. Я искал, к чему бы приткнуться, — и не находил. Но, хотя в этом стремлении, в этой попытке нащупать, схватить, зацепиться я и остался ни с чем, кое-что я все-таки нашел. Я нашел то, чего не искал, — *самого себя.* Я понял, что всю свою жизнь я мечтал не жить — если жизнью считается то, что делают другие, — а выразить себя. Я осознал, что у меня не было ни малейшего интереса к жизни, меня интересовало лишь то, чем я занят сейчас, — то, что параллельно жизни, что ей присуще и в то же время лежит вне ее пределов. Меня вовсе не интересует, что есть истина; что есть реальность — и подавно; единственное, что меня интересует, — это то, что происходит в моем воображении, то, что я ежедневно заглушал в себе, чтобы жить. Умру я сегодня или завтра, не имеет для меня ни-



какого значения — никогда не имело, но то, что даже сегодня, после стольких лет усилий, я не в состоянии высказать, что я думаю и чувствую, — вот что не дает мне покоя, вот что отравляет мне душу. С самого детства, сколько себя помню, иду я по следу этого призрака, ничему не радуясь, ни о чем не мечтая, кроме этой вот силы, этого дара. Все остальное ложь — все, что я когда-либо делал или говорил, исходя из иных предпосылок. А это чуть ли не большая часть моей жизни.

Я представлял собой, как говорится, сущее противоречие. Меня считали то серьезным и надменным, то веселым и беспечным, то искренним и честным, то халатным и бесшабашным. Я был всеми сразу, а кроме того, кое-чем еще, о чем никто даже не подозревал, и меньше всего я сам. Мальчиком лет шести-семи я любил, забравшись на портновский верстак деда, читать ему, пока он шил. Я живо помню его в те мгновения, когда, разутюживая шов пальто, он застывал, прижимая раскаленный утюг обеими руками и мечтательно глядя в окно. Выражение его лица, когда он стоял так и грезил, я помню гораздо лучше, чем содержание книг, которые мы читали, чем разговоры, которые мы вели, чем игры, в которые мы играли на улице. Мне всегда было интересно, о чем он мечтал, что именно выманивало его из недр самого себя. Тогда я еще не знал, что можно грезить наяву. Я всегда был прозрачен, целостен, сиюминутен. Меня зачаровывала его способность грезить. Я понимал, что он терял всякую связь с тем, чем был занят, всякую мысль о каждом из нас, словно оставался наедине с собой и наедине с собой обретал свободу. Мне никогда не доводилось бывать наедине с собой и меньше всего — когда я оставался один. Всегда будто бы кто-то незримо присутствовал рядом: я ощущал себя крошечной крупичей гигантского сыра, каким, вероятно, представлялся мне мир, — впрочем, я и

по сей день вижу его таким. Но я точно знаю, что никогда не существовал как нечто самостоятельное, то есть никогда не считал себя гигантским сыром. Так что даже когда у меня был повод жаловаться, плакать, чувствовать себя несчастным, я сохранял иллюзию причастности ко всеобщему, вселенскому горю. Если я плакал, значит плакал весь мир — так я себе это представлял. Плакал же я довольно редко. И вообще был счастлив, смешлив и доволен жизнью. Жизнью я был доволен потому, что, как я уже говорил, мне и правда все было по хую. У меня все плохо — значит, и везде все плохо, в этом я был глубоко убежден. А плохо бывает обычно лишь тогда, когда все слишком близко принимаешь к сердцу. Это отложилось в моем сознании довольно рано. Взять хотя бы случай с моим другом детства Джеком Лоусоном. Целый год он был прикован к постели, страдая от изнуряющей боли. Джек был моим лучшим другом — по крайней мере, так считалось. Да, поначалу я, наверное, жалел его и, может, даже от случая к случаю заходил к ним домой справиться о его здоровье; но по прошествии одного-двух месяцев я совершенно очерствел к его страданиям. Пора бы ему умереть, сказал я себе, и чем скорее, тем лучше, а рассудив таким образом, я и поступил соответственно: то есть вскоре я и думать о нем забыл, бросил на произвол судьбы. Тогда мне было всего двенадцать лет, и я помню, как гордился своим решением. Помню и сами похороны — ну и позорище! Друзья, родственники — все были там: все сгрудились у гроба, и все ревели, как стадо сумасшедших обезьян. Особенно мамаша меня раздражала. На редкость возвышенное создание — сторонница «Христианской науки», не иначе; она не верила ни в болезнь, ни в смерть, но развела такую вонь, что, пожалуй, сам Иисус восстал бы из гроба. Только не ее ненаглядный Джек! Нет, Джек лежал холодный как лед, суровый и непрístupный. Он был мертв — двух мнений тут быть не может. Я это

понял и обрадовался. Ни слезинки на него не потратил. Я бы не сказал, что он оказался в лучшем мире, потому что в конечном счете его «я» исчезло. Он ушел, а с ним и его страдания, и страдания, которые он невольно причинял другим. «Аминь!» — сказал я себе и тут же, будучи в легкой истерике, громко пукнул — прямо у самого гроба.

Что за идиотская манера принимать все близко к сердцу! Помнится, однажды я и сам чуть не влип — это когда впервые влюбился. Но я и тогда не особенно переживал. Если бы я и в самом деле переживал, то не сидел бы здесь теперь и не писал бы все это: я бы давно умер от разрыва сердца или же болтался в петле. То был не лучший опыт, ибо он научил меня жить во лжи. Он научил меня улыбаться, когда не хотелось улыбаться, работать, когда не верилось в работу, жить, когда дальше жить было незачем. И хотя я ее забыл, привычка делать то, в чем я не видел смысла, сохранилась у меня надолго.

Как я уже говорил, изначально это был сплошной хаос. Но порой меня заносило так близко к центру, к самому сердцу этой кутерьмы, что только чудом не разнесло на куски все, что меня окружало.

Принято все валить на войну. Заявляю, что меня, моей жизни война не коснулась никаким боком. В то время как другие добывали себе престижные должности, я менял одну жалкую работенку на другую и ни на одной не держался столько, сколько требовалось, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Не успевали меня зачислить в штат, как я получал увесистый пендель. Я обладал незаурядным умом, но внушал недоверие. Где бы я ни появлялся, я всюду разжигал смуту — не оттого, что был идеалистом, просто я, как прожектор, выставлял на всеобщее обозрение глупость и нелепость происходившего. Кроме того, я не отличался усердием лизать задницы. Вероятно, это наложило на меня клеймо. По мне сразу можно было сказать, когда я справлялся о работе, что

мне начхать, получу я ее или нет. И разумеется, в большинстве случаев я ее не получал. Правда, со временем сам поиск работы превратился в своего рода деятельность, в приятное, так сказать, времяпрепровождение. Куда я только не заходил, на что только не нарывался! Это был один из способов убивать время — не более скверный, как выяснилось, чем сама работа. Я был сам себе босс и сам себе устанавливал рабочий день, но, в отличие от других боссов, мне грозило лишь мое собственное разорение, мое собственное банкротство. Я не был ни трестом, ни корпорацией, ни государством, ни федерацией и ни конфедерацией наций — более всего я был подобен Богу, если уж на то пошло.

Это продолжалось примерно с середины войны до... ну да, до того самого дня, когда я угодил в капкан. Мне позарез понадобилась работа — без нее мне хана. Время поджимало, и я решил, что соглашусь на самую заштатную должность на свете — мальчиком на побегушках. К концу рабочего дня я отправился в бюро по найму телеграфной компании — Североамериканской Космодемонической Телеграфной Компании, готовый к тому, что уж здесь-то меня примут. Я как раз вышел из публичной библиотеки и нес под мышкой пару томов по экономике и метафизике. К моему вящему изумлению, в работе мне было отказано.

Парень, который меня завернул, был какой-то мелкой сошкой на коммутаторе. Похоже, он принял меня за студента колледжа, хотя из моей анкеты было вполне ясно, что я уже далеко не школьник. В анкете я даже присвоил себе степень доктора философии Колумбийского университета. По всей видимости, это прошло незамеченным или же вызвало подозрение у хлыща, что меня забраковал. Я впал в бешенство, тем более что это был тот единственный случай в моей жизни, когда я не кривил душой. Как бы то ни было, я проглотил свою гордость, каковая

## Содержание

<i>Лариса Житкова</i>	
«Я пою экватор», или Аутогония Миллера.....	5
ТРОПИК КОЗЕРОГА. <i>Роман</i> .....	17
Примечания. <i>Лариса Житкова</i> .....	429

Литературно-художественное издание

ГЕНРИ МИЛЛЕР  
ТРОПИК КОЗЕРОГА

Редактор Александр Гузман  
Художественный редактор Вадим Пожидаев  
Технический редактор Татьяна Тихомирова  
Компьютерная верстка Елены Долгиной  
Корректоры Татьяна Брылева, Ксения Казак  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 25.07.2016. Формат издания 84 × 108<sup>1/32</sup>.  
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 26,88. Заказ №

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)  
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт».  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19  
E-mail: [sales@atticus-group.ru](mailto:sales@atticus-group.ru); [info@azbooka-m.ru](mailto:info@azbooka-m.ru)  
В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: [trade@azbooka.spb.ru](mailto:trade@azbooka.spb.ru)  
В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: [sale@machaon.kiev.ua](mailto:sale@machaon.kiev.ua)  
Информация о новинках и планах на сайтах: [www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru), [www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)  
Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества  
размещена по адресу: [www.azbooka.ru/new\\_authors/](http://www.azbooka.ru/new_authors/)



YAUМ1980201R